

Дмитрий ШЛЯПЕНТОХ

(dshlapen@iusb.edu)

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Все звали ее бабка Варья. В своем микрорайоне и в своем дворе, зажатом между серыми блоками многоэтажек, она была всегда. Так, во всяком случае, думали те, кто ее знал. Бабка Варья была очень старая, она была самая старая из всех старух во дворе; наверное, у нее была какая-то причина жить так долго, хотя никто не знал этой причины. Да и сама она, наверное, ее не знала, потому что смотрела на окружающий ее мир какими-то белесыми пустыми глазами. Было ясно, что бабка Варья и окружающий мир были бесконечно далеки, как будто песочница была совсем не рядом с лавочкой, на которой сидела бабка Варья, а где-то в другой галактике.

Бабка Варья смотрела на детей, которые копошились в песочнице, своими выцветшими пустыми глазами, так же как она смотрела на их пап и мам, и помнила этих пап и мам такими же маленькими девочками и мальчиками. Она помнила это потому, что была очень стара, и потому, что не умирала, как другие старушки, которые тоже сидели на лавочке.

Всю жизнь баба Варья работала и работала тяжело, занималась совсем не женским трудом: то ворочала шпалы, то месила бетон, то делала что-то другое, от чего ныли от перенатуги мышцы. Несмотря на это, когда она была сравнительно молода, она жила с миром: этот мир возникал, как подружки, случайные любовники, какие-то лозунги и прочее. Самым ярким и объемным вхождением мира в бабку Варью была война. Она жила в мире не потому, что на войне могли убить или покалечить, но потому, что там, в войне, она была нужна, и ей почему-то, а это казалось очень странным для ее подружек, особенно нравилось работать в госпитале. Все эти раненые, часть без рук и ног, были от нее во всем зависимы, и что-то сладко щемило в ее сердце, когда она сажала их на горшок или мыла запачканные пододеяльники и простыни. Но после войны прошло много, много лет, и все те, кто ее помнил и кого она знала, старились и умирали, наверное, просто потому, что они не знали, зачем живут. Те, кто помоложе, тоже отходили от нее все дальше и дальше: они выходили замуж или женились, у них появлялись дети и внуки, и свои заботы, и горести и радости. И бабка Варья им была не нужна. Какое-то время они еще звонили ей, то так, для порядка, по старой памяти, то поздравить с Новым годом, то еще по какому-то поводу, но в этих звонках не было ни сердца, ни старой памяти, ни теплоты. Потом и они перестали звонить. Да и зачем были эти пустые звонки? Она вскоре отключила телефон, просто перестав за него платить. Не стала она покупать телевизор и говорила себе, что это тоже ни к чему. Дело даже было не в том, что ее меньше и меньше интересовали новости, а в том, что после работы все тело ломало от страшной усталости, а утром нужно было опять ехать туда же — на стройку, в цех или еще какое-то место, где надо было много долбить, таскать и перекладывать. Да еще надо было добираться туда часа два в дребезжащем, переполненном трамвае или автобусе, где ей почти никогда не уступали место.

Через какое-то время сломалось радио, и она не чинила его, хотя в их доме, недалеко, в другом подъезде, была мастерская. Мир уходил от нее, а она уходила от мира, и это все почти завершилось, когда она вышла на пенсию, которую аккуратно приносил почтальон. Мир нужен был только для того, чтобы зайти в гастроном, булочную или аптеку — она не любила ходить в больницу, где всегда много народу. Ну, еще мир нужен был для того, чтобы можно было посидеть на лавочке в теплую погоду. После выхода на пенсию она поняла, что может теперь спать сколько угодно, отсыпаться за годы бессонницы и непосильного труда. Когда она спала, она уходила от мира совсем, и это доставляло ей особое удовольствие, особенно когда не болело сердце и не ныли ноги. Она стала редко мыться, тем более что горячую воду то включали, то отключали, а под окном всегда что-то рыли и перекладывали, хотя она не видела в этом смысла.

Хотя в этом, она иногда думала, и есть смысл: надо что-то обязательно долбить и перекладывать, чтобы потом все рассыпалось и исчезло. Она практически перестала

убирать комнату, где накопилось изрядное количество всякого хлама: старых бумажек, квитанций, газет. Однажды она поняла, что все это начинает сильно мешать в крохотной комнатусшке, и поэтому все это нужно снести на мусорку. У нее было свое представление о мусорке с дворовым железным контейнером в конце двора, которую периодически опорожняли приезжающие машины — потом, она знала, этот мусор отвозили на большую городскую свалку.

Когда она думала о смерти, вот этот мусорный контейнер и приходил ей в голову, несмотря на то что она где-то добыла бумажную иконку и поместила ее себе на комод. Она не боялась смерти, но и не желала ее. Некоторые из ее знакомых старушек, из тех, с которыми она иногда сидела на лавочке, говорили ей, что хотят умереть, потому что там, на том свете, находятся их близкие. С ними-то они хотели бы увидеться и быть вместе. У нее такого желания не было. У нее не было родственников или таких вот закадычных друзей или подружек, без которых она уж сильно скучала. Да и родителей своих она не очень хотела видеть. Она хотела быть справедливой к родителям, любящей дочь и видеть в отце только хорошее: он не пил, приносил домой заработок, маме, наверно, тоже не изменял. Жили они по тем временам совсем неплохо, в материальном отношении, конечно. Отец работал на каком-то важном оборонном предприятии, поэтому отоваривался гораздо лучше многих; голода она никогда в детстве и ранней юности не испытывала, многие ей завидовали. Отец не бил ее никогда, да и мать, наверно, не позволила бы, но доброго ласкового слова она от него не слышала. А что говорил, то все иное, то, что она не хотела от него, человека родного, слышать — все время упрекал ее в чем-то, говорил, что она скверная дочь, что морали у нее никакой нет, а то говорил еще более обидное: что она глупа, голова пустая и восьмилетку не кончила, а то позор для семьи. Он-то был человеком с дипломом, кончил какой-то технический вуз или техникум, чем весьма гордился. А то и совсем злые, не отцовские слова она слышала: что ни лицом, ни телом она не вышла, что почти она совсем уродина и что хорошо бы, чтобы мать родила ему кого-нибудь поумнее и покруше. Она, действительно, не была красавицей: лицо плоское, круглое, курносое, в общем русопятское лицо, ничем не привлекательное. С фигурой тоже не вышло: плечи широкие и мускулистые, а бедра узкие. Больше мужик, чем баба. Но разве в этом она виновата? Так родилась. Да и не должен отец говорить такое дочери.

Мать ее так не ругала, но ласковых слов от нее она также не слышала. Была, правда, бабушка, она жила в деревне, и она ее действительно любила, но бабушка умерла, когда она была совсем маленькая, и ее она почти не помнила. Отец погиб в войну, а мать умерла вскорости после этого. Желания увидеть их на том свете у нее не было. Так что тот свет был для нее столь же пуст, как и этот.

Одиночество ее не мучило, потому что она все больше и больше уходила из этого мира, правда, куда — она так и не знала. Что скажут о ней соседи или заглядывающий иногда почтальон, ее мало беспокоило, и комнату свою, крошечную клетушку, которую ей как-то удалось заполучить за годы тяжелого, часто непосильного труда, она почти не убирала. А в углу скапливалась, с годами увеличиваясь, гора хлама. Какие-то газеты, книжки без переплета, справки, квитанции и прочее барахло. Во времена ее юности приходили девочки и мальчики и собирали то, что они называли «макулатурой», и кое-что забирали. Но сейчас ничего подобного не было, никто старьем не интересовался, а поэтому горы бумажек росли. В конце концов ей стало ясно, что долго так продолжаться не может, и она решила снести все это или уж часть этой бумажной горы на помойку.

Это было тяжелое предприятие, поскольку оно предполагало спуск по лестнице, а затем подъем. Лифт часто не работал, да и иногда проникающие в подъезд бомжи использовали его в качестве туалета, так что воняло там страшно, а кроме этого, местные мальчишки нацарапали на стенке лифта всякие срамные слова, но это ее никак не беспокоило. Она долго искала, во что положить бумажки, и наконец решила, что лучше старой хозяйственной сумки ей ничего не найти. Она набила ее доверху и стала осторожно спускаться с лестницы, а потом с трудом, с перерывами пошла к мусорке. Нести все было страшно тяжело, она задыхалась, и сердце билось, как уставший от перенапряжения и изношенный мотор. После нескольких остановок она наконец доплелась до контейнера, но перебросить бумаги в контейнер у нее не было сил, поэтому она решила бросать всю эту бумажную ветошь по частям. Она забросила почти весь этот бумажный хлам в контейнер, и в сумке, на самом дне, осталась лишь одна газета, какая-то очень старая — наверно, ей было лет восемьдесят. Она подняла ее, недоумевая, почему она сохранила эту газету, и, подняв и рассмотрев поближе, поняла, почему она хранила ее все эти годы. Это была газета с того сорок пятого и сообщала всем, в том числе ей, что война кончилась и кончилась победой. И хранила она эту газету так долго не потому, что она была в войне, а по другой причине: в том немыслимо далеком году она была так молода, и жизнь казалась бесконечной. Но теперь эта газета была ей совершенно не интересна, как будто она была сегодняшней

газетой. Эти недавние газеты она совсем не читала, но если раздавали их бесплатно — обычно обильно заполненные рекламой — она брала их — в них можно было иногда что-нибудь завернуть или что-то на них постелить. Она хотела и эту газету бросить в бак, но заметила между листами какую-то записку, такую же древнюю, пожелтевшую, как и сама газета. Что-то в записке ее заинтересовало, и она решила прочитать ее по возвращении домой.

Обратное путешествие было еще более утомительным. С одной стороны, она шла налегке. С другой стороны, ей пришлось подыматься по лестнице: лифт, как обычно, не работал. Она задыхалась и часто останавливалась, эти подъемы с каждым годом становились все более и более мучительными, и сердце после них часто сильно болело. Иногда ей хотелось умереть тут же, на лестнице, но не мучиться больше, но потом она думала, что будет нехорошо, если она умрет от сердца здесь, в неподобающем месте, и труп ее скатится до лестничной площадки. Взбираться было очень трудно, да не впервой: хотела она или нет, но приходилось взбираться по этой лестнице хотя бы раз в неделю, когда она ходила за продуктами. Вот она наконец доковыляла до квартиры, отперла дверь ключом, висевшим у нее на шее на веревочке вместо крестика, и вошла в затхлую клетушку. Там она наконец отдышалась и вытащила из газетных листьев заинтересовавшую ее записку. Развернула пожелтевший от времени треугольник, надела очки, поднесла записку к тусклой желтоватой лампе и пробежала глазами текст.

И тут как будто электричество прошло по ней с головы до пят. Это была записка от него, в которой он писал, что любит и вернется. Она встретила его в самом конце войны, поэтому и попала записка в газету того времени. Совсем не был он у нее первый. На фронте все случилось. Да, она так думала, что не красотка она, и если будет выкаблучиваться, недотрогу из себя строить, то никого и не будет. Да и война, очень злая война. Сегодня ты жив, а завтра нет, а то и покалечат — а это может быть еще хуже, чем быстрая смерть. Так что она не отказывала. Да и солдаты не думали, по крайней мере, многие, о будущем. Сегодня жив, а завтра нет. Но вся эта солдатская любовь была какая-то быстрая, грязная, не по-людски. Никакой памяти о них не оставалось. Ни сердце, ни тело о них не помнило.

А этот был совсем другой. Она не помнила точно, когда она его встретила, наверное, в самом конце войны или, наверное, сразу после ее окончания, не случайно ведь эта записка оказалась в газете того времени. Почему он ей запомнился? Она не понимала, да, наверное, не могла понять даже тогда. То ли дело было в его любовном умении — те, с кем она сходилась до него, да и после него — никогда не думали о ней, а только о себе. Или потому, что было его тело молодым, гибким. Или потому, что пахло оно потом, махоркой или еще чем-то мужским и терпким. Или потому, что у него было веселое лицо, голубые глаза и густые волосы, или, может быть, это все ей показалось. Ну, помнила, что прикипела к нему сразу и сразу представила, как они будут жить вместе. И детей у них будет много, и будут жить вместе до самой старости. И умрут один за другим, чтобы не расставаться. И укрепились она в этой мысли особенно после того, как он оставил ей эту записку, что она ему тоже приглянулась и что он обязательно вернется за ней. Все это оказалось обманом. Но злой и холодный голос стал говорить ей, что ничем иным, кроме как обманом, это не могло быть. Вот она раскатала губу на него, а зачем-то она ему? Совсем она была не красотка и знала это. Родителей важных, генералов там или каких-то других по партийной линии, у нее не было, так что квартиры, работ прибыльных, пайков и других благ она предложить не могла. А любовь? Она и в молодости понимала, что любовь — дело временное. Это только в сказках да фильмах она на всю жизнь. А в жизни все часто совсем по-другому, и подружки, замужние которые, ей часто это говорили: вначале все друг от друга без ума, а пройдут годы — или расходятся, или друг другу чужие. Так что любовь — это не то, чем она могла его удержать. Да тут и другое вспомнилось: в те послевоенные годы мужики, особенно те, у которых все части тела были в наличии, были в большом дефиците. А молодой, веселый да пылкий, был, наверное, нарасхват. Сотни баб у него, наверное, были, а потом, когда все надоело, наверное, женился он на самой хорошенькой или прибыльной, с квартирой, папой и мамой, хорошо устроенной. Ну, конечно, ходил бы на сторону. Нет, ничего бы с ним не вышло. И вдруг какая-то злая, ненавидящая мысль возникла у нее: зачем он ее обманул, обещал, обещал просто так, что жил на этом свете, что могла быть у нее другая жизнь, семья, дети. Но эта злая мысль, быстро вспыхнув, быстро и погасла или, вернее, перешла в нечто другое — странное чувство облегчения возникло у нее, что с ним у нее ничего не было. Ну, подумала она, вышла бы она за него, пошли бы дети и прожили бы вместе всю жизнь. Любовь эта прошла бы, все это очень быстро, пользы от него для нее никакой бы не было, а зарплату он мог бы совсем не приносить и пропивать. Подружки ей то и говорили, что с мужиками, особенно с теми, кто с войны вернулся, это часто случалось. Так что все ложилось бы на нее. Да и не только это. Если жили бы они вместе, то надо было бы за ним убирать, стирать,

готовить, а понимал бы он, что сил у нее после работы нет? Конечно, нет, коль жена, то вынь да положь. А потом дети бы выросли. Пусть даже были бы они здоровыми и успешными, и внуки бы были. Так что бы они о ней — часто вспоминали бы? Да нет, конечно, чужие были бы, а это подружки ей тоже говорили. Ну забегали бы раз, может, в месяц, да и то, чтоб стрелнуть денежку. Зарплата и пенсия была у нее совсем не густая, но как своей крови отказать? Давала бы что было, а потом выкручивалась бы. А главное — в этой семейной жизни была бы одна сплошная суета. И она мешала бы ей делать то, что больше всего хотела она всю жизнь — спать. Сна-то не хватало ей всю ее долгую и тяжелую трудовую жизнь, и даже когда вышла на пенсию, она часто не могла уснуть: то соседи буянили, то музыка играла, то пьяные часто орали под окном. Так что она могла много часов лежать с закрытыми глазами и не уснуть, а когда засыпала, то спала без сновидений, как будто в яму черную проваливалась. А потом подумала она еще раз про смерть. Она подумала, что там, на том свете, она никого не хотела бы увидеть: ни родителей, от которых она не помнила родственного тепла, ни подружек, которые то появлялись, то исчезали, ни своих любовников, ни уж, точно, его. Там, на том свете, он, наверно, сидит в окружении своих баб, с которыми он спал, может быть, даже в окружении детей и даже внуков — сколько лет прошло, а мужики мерли часто и совсем молодыми — а она что бы там делала? В сторонке бы стояла, а он ее даже не заметил бы. Забыл он ее, наверно, очень быстро. Нет, не нужен был ей этот тот свет, и если бы умереть, то как прыгнуть в черную яму, в сон, чтобы ничего не было. И от этой мысли ей сделалось как-то покойно и светло. Она взяла газету и записку, положила все это на сковороду и поднесла зажженную спичку. Пламя быстро и, как показалось ей, радостно обхватило края газеты и записки. И вскоре от них не осталось ничего, кроме сизого дымка и черного праха пепла. Она подумала, что все это надо было смыть в раковину, а лучше в туалет, но сил у нее совсем не осталось, и она подумала, что все это терпит до утра, и решила прилечь.

Ее труп пролежал очень долго, несколько недель. Ее отсутствие на лавочке около песочницы никто не заметил, тем более что выходила она на улицу все реже и реже. Только тогда, когда из квартиры потянуло каким-то странным сладковатым запахом, поняли, что что-то не так, и с понятиями открыли дверь. Дело было летом и каким-то душным парным летом — дожди, а потом жара. Труп начал уже разлагаться, а посему и появился этот сладковатый запах, от которого понятых сразу стало тошнить. Полицейский, присутствовавший при вскрытии квартиры, сообщил, что труп успели изрядно обгрызть крысы и, видимо, бродячие собаки. Это всех удивило до чрезвычайности. Мыши в доме иногда появлялись, но чтобы крысы — такого замечено не было. А что касается бродячих собак, то это уже совсем была мистика. Откуда могли появиться эти собаки в закрытой квартире? Однако на этом странности с бабкой не кончились. Не успели ее похоронить, как выяснилось, что квартирка ее давно приватизирована. Более того, сразу же обнаружилось, что у бабки, оказывается, есть ближайший родственник, который, как заметили соседки старушки, быстро «зацарапал» квартирку. Во владении его, однако, квартирка оказалась ненадолго, он быстро продал ее какому-то «кавказцу». «Кавказец» в квартирке не жил и навевывался редко. Перед этим он обычно посещал поселок, расположенный недалеко от города. В поселке была когда-то швейная фабрика, кормившая почти все местное население, по большей части женское. Фабрика держалась долго, и местные шутники иногда сравнивали ее с Брестской крепостью. Действительно, фабрика, а вернее, ее нехитрая продукция, была со всех сторон обложена дешевым импортным ширпотребом. Но уже после долгих лет героического, как опять отмечали местные шутники, сопротивления и она пала, то есть закрылась. Чем кормилось местное население, никто не знал. Но все знали, что в поселке исправно работают два ресторана — оба во владении «кавказцев». Туда-то «кавказец» и направлялся, возвращаясь обычно ночью с одной или двумя мертвечки пьяными девицами. Они с трудом стояли на ногах, и «кавказец» не без труда заталкивал их в комнатушку. Оттуда потом раздавались какие-то женские вскрики, стоны, звучала какая-то дребезжащая музыка. Все это крайне раздражало соседей. А все вставали очень рано, чтобы поспеть на работу. Были и маленькие дети, которые не могли заснуть. Разгневанные соседи часто обращались в полицию и требовали прекращения ночных безобразий. Полиция иногда приезжала, но никаких последствий для «кавказца» и его дружков не было, и все продолжалось, как прежде. Но это уже совсем скучная, никому не интересная история, к бабке Варье никакого отношения не имеющая. О бабке вскоре, естественно, все напрочь забыли, как забыли о миллиардах, если не триллионах, других умерших.

Надо также заметить, что кладбище, на котором она была похоронена, тоже снесли и построили на его месте то ли ресторан, то ли танцплощадку, то ли, как утверждают злые языки, бордель, что, конечно, злая клевета, потому что бордели и проституция запрещены законом.